ВСЕ ВАСИЛЬКИ, ВАСИЛЬКИ, СКОЛЬКО МЕЛЬКАЕТ ИХ В ПОЛЕ...

Нет на свете людей, которые бы в той или иной степени не были виноваты перед своими родителями, предшественниками, давшими нам право на жизнь. Это дарованное свыше право вселяет надежду и ожиданием счастья переполняет душу. Теряя голову, мы проваливаемся в самую глубь лабиринта невзгод и прегрешений в погоне за призрачным благополучием, забывая обо всем и обманывая себя и своих близких.

Я один из тех, чья вина перед матерью тяжела и неизгладима. Вспоминаю ее лицо, задумчивое и строгое, печальное, которое сразу преображалось, стоит только на нее взглянуть, украшаясь доброй и застенчиво-милой улыбкой. Создавалось впечатление, что мама совсем не умеет сердиться, настолько мягкий и уступчивый был у нее характер. Нам с братом жилось привольно и легко, мама ходила за нами до третьего класса, как за малолетними детьми, кутая в ватные одеяла. Борясь со сквозняками

и бесконечными простудами, отпаивала малиновым вареньем и душицей. Терпеливо перетаскивала нас на себе каждую субботу после купанья, опуская в теплую, нагретую постель. После переезда мы жили на первом этаже, пол был холодным, и мама, как могла, берегла наше здоровье.

Будучи впечатлительным и слабым мальчиком, я большую часть времени просиживал дома, общаясь чаще с книгами, чем с приятелями. Моим кумиром был отец, работавший художником. Мама оставалась как бы в тени. «Слова из тебя не вытянешь, дядя Стася родимый», — отшучивалась она в ответ на мое угрюмое молчанье, когда я приходил из школы и неохотно делился с ней новостями. Я сильно картавил, с трудом давались шипящие звуки, и мою сбивчивую невнятную речь мало кто мог разобрать. Над этим изъяном все смеялись, особенно усердствовали дворовые мальчишки. Дома от насмешек спрятаться было негде, и я отмалчивался, избегая длительных расспросов. Мама жалела, защищала от нападок ребятни, и со временем ко мне прилепилось прозвище «маменькин сынок».

Сколько помню, мама все время что-то делала — стирала, гладила, шила, готовила, убиралась по дому и беспрерывно штопала старые носки и чулки. Их имелась у нас целая груда: два больших выдвижных ящика старинного шифоньера были заполнены доверху изношенным тряпьем. Откуда что бралось?! По долгим зимним вечерам, когда телевизоры были большой редкостью и все собирались возле репродуктора послушать радиопостановку или концерт легкой музыки, мама как-то незаметно, с улыбкой, при свете настольной лампы починяла прохудившиеся носки. А они все рвались и рвались, протираясь в новом, неожиданном месте, и мама, вздохнув: «На вас не напасешься», бралась за повторную работу.

Если штопкой она занималась по необходимости и из экономии, то шить действительно любила. Не умея раскраивать материал, тем не менее шила добротно и уверенно по готовым выкройкам, которые находила в журнале «Работница». И до школы мы с братом всюду появлялись в клетчатых маминых костюмчиках, по коим нас обычно и узнавали. Дома привычно и легко жужжала желтенькая швейная машина с ручным приводом, одна из первых

семейных покупок. Мама подолгу не расставалась с ней, старательно овладевая азами рукодельного мастерства. Раз в две недели она затевала стирку. Стирка была большая и растягивалась на весь день. Квартира наполнялась душным и влажным воздухом, в котором тяжело ощущался неприятный, колючий запах хозяйственного мыла. Мама кипятила белье в мыльном растворе, взгромождая на газовую плиту двухведерный алюминиевый бак, где вместе с бельем всегда плавало множество разноцветных обмылков. Стиральных машин еще не придумали, и мама все перестирывала на руках, до мозолей сбивая натруженные ладони. Уставшая, в мокром цветастом халате, она несколько раз на дню выходила во двор развешивать чистые простыни и пододеяльники. Высушенное белье складывалось на обеденном столе, и вскоре там же начиналась глажка.

Первый утюг, который я увидел, был газовый, со съемной ручкой. Сделанный из цельнолитого куска металла, он докрасна нагревался на газовой конфорке, затем ухватывался деревянной ручкой и переносился в столовую. Мама обыкновенно работала с двумя утюгами и пока гладила одним, остывающим утюгом, второй стоял на огне. Потом она бежала на кухню и меняла. Газовый утюг был значительно тяжелее электрического, это я запомнил на всю жизнь, когда уронил его на ногу при неудачной попытке использовать в качестве гантели. Часто по ночам я просыпался от неяркого желтого света, слабо стелющегося по коридору. У меня сжималось сердце и, прерывая сладкий сон, я вставал и упрямо шел на кухню, подталкиваемый вопросом — почему мама столько работает, ведь кругом ночь и все уже спят? Я старался ей как-то помочь, облегчить непосильную, непонятную мне женскую долю. Кроме жалости у меня ничего не было.

Нина Алексеевна Круль, в девичестве Овчинникова, родилась 11 мая 1927 года в Сибири на станции Топчиха, что неподалеку от Барнаула. Бабушка Софья Павловна Белякова была уроженкой Балашова Саратовской губернии. Росла и воспитывалась в крепкой семье зажиточного скорняка, училась в приличной гимназии, пока семью не раскулачили. Отец бабушки Павел Беляков, всю жизнь работавший на семью и трудом скопивший небольшое состояние, не перенес свалившегося на него позора, слег

и вскорости умер, в бреду повторяя: «За мной придут, придут, должны прийти». До последнего дня он надеялся, что ему вернут дом и хозяйство. Этого не случилось, и пятеро детей, кто в чем был, оказались на улице. Братья разбрелись в Таганрог и Вологду, Софья вместе с сестрой Клавдией на страх и риск отправились в Сибирь, где и встретили свою судьбу. Иван Соколов, сын ярославского протодьякона, и Алексей Овчинников, недоучившийся гимназист из Петрограда, сосланные в Новосибирск за связи с классовым врагом, быстро нашли общий язык, подружились и в одно время сделали сестрам предложение.

Бурные двадцатые годы развели друзей. Соколова отправляют учиться в Ленинградский ветеринарный институт, по окончании которого он работает на строительстве Турксиба, где ремонтирует главный и единственный тогда транспорт — лошадей и быков. Овчинникова после некоторых колебаний, учитывая руководящие качества и технические навыки, назначают директором МТС на станции Топчиха, куда он перевозит свою уже разросшуюся семью.

Война спутала все планы. И хотя у Овчинникова имелась защитная бронь, он в общем эшелоне отправляется на фронт, не желая отсиживаться в тылу. Смертельное ранение в живот в августе 1943 года под Сухиничами оборвало блестящую карьеру майора, к тому времени занимавшего пост ответственного секретаря полка.

А дома, в Топчихе, его ждали жена и четыре малолетние дочки. Мимо проносились поезда, груженные замерзшей свеклой, и станционные пути были сплошь усеяны бесформенными красноватыми плодами. Люди собирали их и ели — свекла составляла главный рацион. Не всем такое было по силам — две младшие мамины сестренки, мучась животом, умерли в раннем возрасте и не дождались дня, когда семья вдовы красного командира получила от властей долгожданную поддержку — старую ялую корову Маньку, почти не дававшую молока. Ее обменяли на молодую корову из колхозного стада по кличке Чайка. Это было как раз вовремя — оставшиеся в живых Нина и Алла впервые за долгие годы наелись досыта. После войны, в 1946 году, бабушка по приглашению сестры переезжает в Уфу. Клавдия Павловна уже жила

там и имела свой угол благодаря свояченице, бывшей замужем за Веретенниковым, тогдашним министром сельского хозяйства республики. И хотя Уфа была закрытым городом, для родственников делали исключение.

Я неясно помню детство, проведенное в доме номер девять по улице Ленина. Но по-прежнему, когда в спешке прохожу мимо, что-то рвется в груди. Я замедляю шаг, смотрю на дом, и меня неудержимо тянет заглянуть вовнутрь, подняться на верхний пятый этаж, где мы жили, пройти на кухню и прислониться к узкому длинному окну, выходящему на двор. И по-прежнему меня влечет в маленький сквер, что на углу Коммунистической и Ленина, где когда-то тихо журчали миниатюрные фонтанчики, ворковали непоседливые голуби, разыскивая хлебные крошки, и шумно бегали нарядные ребятишки. Мама рассказывала, что часто ходила с нами гулять в этот сквер, толкая впереди себя простенькую деревянную коляску.

Не знаю, до сих пор не пойму, что меня толкнуло на необдуманный поступок и заставило взять из маминого кошелька деньги. На улице стояло лето, знойный полдень, нестерпимо хотелось мороженого, и взрослые мальчишки решили в шутку меня испытать — смогу ли я незаметно от родителей вынести из дома деньги. Мне пять лет, и я горд оказанным доверием. Осторожно, чтобы не разбудить задремавшую на часок маму, я на цыпочках пробрался в комнату и положил в карман десять рублей.

Реакция последовала незамедлительно — обнаружив пропажу, мама быстро установила виновника и, возмущенная случившимся, потащила меня в отделение милиции. Я не хотел идти, плакал и вырывался, но мама держала крепко, приговаривая, что вор ей не нужен и что сейчас она сдаст меня в тюрьму. Это было полной неожиданностью. Я-то думал, что меня не станут наказывать, и совсем не хотелось попасть туда, где ходили угрюмые люди в военном и беспрерывно лаяли собаки.

Так я получил первый урок мужества и прямоты, который преподала мне моя мать, мягкая и стеснительная женщина. Сама она никогда не брала чужого, и сердце ее было свободно от зависти и корысти.

Переезд в Уфу оправдал возлагаемые на него надежды — Клавдия Павловна выхлопотала сестре и двум ее дочерям комнату в коммунальной квартире, где проживала сама, и вскоре мама поступает в кооперативный техникум. Однако стать специалистом ей не удалось. Еще будучи студенткой, она знакомится с отцом и, уступая его настойчивым ухаживаниям, выходит замуж, навсегда распрощавшись с профессией товароведа. Замужество сыграло роковую роль в ее жизни. Мама как-то быстро смирилась, сникла, взвалив на себя тяжелый груз нескончаемых домашних хлопот и добровольно ограничив круг интересов детьми, мужем и его знакомыми. Спустя несколько лет трудно было узнать в располневшей, притихшей женщине хрупкую девушку с обворожительным взглядом, который когда-то сводил с ума молодых ребят и сокурсников по учебе.

Кто возьмется описать трагедию, разыгравшуюся в ее задумчивой и тихой душе? Я ничего этого не знал. Мне всегда казалось, что мама, простодушная и доверчивая женщина, которую мало интересовали события (она редко читала газеты и доверялась одному репродуктору), с трудом успевает за бурной меняющейся жизнью. Складывалось впечатление, что она поставила крест на своем развитии и, отгородившись от внешнего мира, ушла в себя. Мама была счастлива нами, своими детьми, до тех пор, пока это было возможно, пока мы жили вместе одной семьей. Видимо, в том и состояла вся ее жизнь с заботами и огорчениями, переживаниями и постоянными тревогами. Что толку теперь в этих признаниях? Ничего уже не поправить и маму не вернуть, как не вернуть назад промчавшегося мимо клубка жизни.

Снова и снова встает перед глазами полузабытый, выпавший из памяти эпизод. Раннее прохладное июльское утро, я возвращаюсь домой после взбалмошной и бессонной ночи, проведенной с друзьями в общежитии института. Двор еще пуст, тишина, но солнце уже встало и, словно прожектором, слепит глаза, тревожит и радует. Подходя к подъезду, вижу на крыльце маму в домашнем халате и с ужасом вспоминаю, что не успел ее предупредить. «Все, конец!» — думаю со страхом, и ноги, подгибаясь, сами замедляют ход. Мама неуверенно встает и делает шаг мне навстречу.

— А я и в милицию, и в морг уже звонила, думала, тебя в живых нет, — вдруг заплакала она и в изнеможении опустилась

на табурет. Оказывается, просидела на этом табурете всю ночь, с надеждой и тоской вглядываясь в обступившую темноту, и некому было ее утешить — отец в командировке, а Володя к тому времени жил отдельно.

— Мама, пойдем домой, неудобно, — я обнимаю ее за усталые плечи и отвожу на кухню, ставлю на плиту чайник.

Боже мой, сколько же я причинял ей страданий и беспокойства! А она все терпеливо сносила и гордилась моими успехами в учебе, часто повторяя, что, когда вырасту, непременно стану профессором, заработаю мешок денег и, конечно, полмешка отдам ей и она, наконец, разбогатеет. Не скажу, чтобы мы жили бедно, но такая уж у нее была поговорка.

Мама любила петь. Тихая, нескончаемая печаль слышалась в ее голосе, когда, склонившись над швейной машинкой, она подолгу напевала протяжные русские песни и мелодии юности. Пела трогательно, словно стыдилась своего голоса, бархатного, теплого, грудного, и пением буквально завораживала мое детское сердце. Казалось, в этот момент она понимает что-то такое, о чем нельзя говорить вслух, что можно неосторожно разрушить одним прикосновением. Я задерживал дыхание, вслушиваясь в странные непонятные слова:

Всё васильки, васильки,
Сколько мелькает их в поле!
Помню, у самой реки
Их собирали для Оли.
Оля возьмёт василёк,
Низко головку наклонит.
— Милый, смотри, василёк
Твой поплывет, мой утонет!
Милый тут вынул кинжал,
Низко над Олей склонился.
Оля закрыла глаза,
Венчик из рук покатился.
Наутро пришли рыбаки.
Олю нашли у залива.
Надпись была на груди:
«Олю любовь погубила».

Откуда она знала эту песню? Кто пропел ее маленькой неказистой девочке в глухом сибирском городке, и чем эта банальная история с душераздирающим финалом могла тронуть ее сердце? Может, своей неправдоподобностью (какая девушка не мечтает о яркой, романтичной любви), или в песне ей пригрезился отзвук собственной судьбы, которая сложилась, наверное, не совсем так, как хотелось бы? А может, мама просто пожалела Олю, как жалела всегда убогих, несчастных и голодных. Помню, как у нас по воскресеньям отъедались на неделю вперед студенты из общежития — Сергей Маслов и Коля Калмыков. Мама готовила всегда много (на весь подъезд, как подшучивал отец): суп — так полную кастрюлю, макароны с мясом — так целую сковороду, беляши — полный чан с верхом. Все это уничтожалось в один присест и ничего не пропадало — рядом постоянно крутились приблудные собаки и кошки.

Больше эту песню я нигде не слышал и запомнил ее с маминого голоса. Уже после ее смерти, за поминальным столом, Борис Домашников, известный художник, с которым отца связывала многолетняя, хотя и неровная дружба, высказал предположение, что автором стихов к песне мог быть Алексей Апухтин — русский поэт, автор нашумевшего в прошлом романса «Пара гнедых, запряженных зарею». Обрадованный возможной находкой, я быстро разыскал сборник стихов Апухтина и, действительно, в стихотворении «Сумасшедший» обнаружил похожие строки:

Да, васильки, васильки.
Много мелькало их в поле.
Помню, у самой реки
Мы их сбирали для Оли.

Правда, на этом похожесть обрывалась, и дальше следовала совершенно другая история, не лишенная драматизма и психологической достоверности, чего, к сожалению, не скажешь о самой песне, тяготеющей к простонародному грубоватому напеву. Если предположить, что Домашников прав, то каким образом произошла странная, резкая трансформация, приведшая к полному изменению смысла? Это осталось загадкой.

В конце шестидесятых, когда мы с братом учились в старших классах, между родителями вспыхнула ссора, замешанная на ревности, и былой домашний уют треснул по швам — в семье произошел окончательный разлад. Чтобы как-то обеспечить старость, мама пошла на работу. Устроиться по специальности не удалось (навыки товароведа были утеряны), и ее приняли контролером на стадион «Труд». Тот самый, где мы с Сашкой Ларионовым мальчишками бегали смотреть мотогонки, поболеть за Плеханова, Самородова и Кадырова. Каждый день, кроме понедельника, она ходила на работу, то с утра, то во вторую смену — к обеду, терпеливо и добросовестно отстаивала положенные семь часов. Мама часто жаловалась на головные боли — врачи обнаружили у нее повышенное артериальное давление — и спасалась только черноплодной рябиной. Ей была противопоказана стоячая работа, но другой не предвиделось и приходилось мириться. Когда мы окончили школу и поступили в ВУЗы — я в авиационный, Володя в БГУ, — у мамы появилось свободное время и она пристрастилась к книгам. Особенно ей нравился Бальзак, которого она читала и перечитывала неоднократно. Я посмеивался над ее хобби, а она редко говорила о прочитанном, видимо, не желая быть в тягость лишним разговором. Я неуважительно относился к маме, спорил по мелочам, доказывая свое, и она соглашалась со мной во всем, теряя последние остатки гордости. Этого не объяснить, когда любовь убивает себя. Постепенно угас, потерялся интерес к жизни, особенно, когда отец ушел к другой женщине.

Не могу забыть, как отплясывала она в новеньких румынских туфлях, не стесняясь своей полноты и радуясь нежданной и красивой обнове. Эти туфли я купил ей в Москве, в универмаге на Новослободской. Не суждено было ходить в них — через два месяца, двадцатого ноября 1989 года, мамы не стало. Она скончалась одна, тихо и безропотно, в пустой квартире, не дождавшись никого и не сказав своего последнего слова. Бессмысленно протестовать или возмущаться — не нам решать, кого впустить в этот мир, а кого отправить на вечный покой. Мы, как те васильки в поле, и у каждого свой час, когда Господь, вздохнув, сорвет последние лепестки — пора!

ДВЕ БАБУШКИ

Жаркий, бесконечно жаркий июльский день, пот градом бежит со лба, за окном надрывно и беспрестанно звенят трамваи, а по комнате разливается густой запах гороховаго супа, который, не усидев в кастрюле, предательски лезет через край. Вокруг обеденного стола хлопочет, всплескивая поварешкой и возвращая беспокойный горох на место, бабушка Софья. Мне десять лет, я сижу рядом на стуле и жду окончания привычной церемонии, чтобы получить свои законные пятнадцать копеек на кино. В «Родине» идет фильм «Горные мстители», а денег у меня нет. Отец уехал в командировку, у мамы не допросишься, значит, остается один вариант — баба Софья. Я знаю, она обязательно даст, даже если это ее последние деньги, и поэтому не волнуюсь.

— Сейчас, сейчас Сережа, будем обедать — твой любимый гороховый суп.

— Баба Софа, я не хочу есть, жарко.

— Ну и что же? Есть все равно надо, как же не есть. Ты чего так сморщился, зуб болит?

По правде сказать, сморщился я от предстоящей трапезы, придумывая на ходу, как бы ее избежать.

— Через полчаса в «Родине» кино начинается, — словно бы невзначай сообщаю я.

— Ну и хорошо, ты еще успеешь поесть, — успокаивает бабушка.

— Ну бабушка, не хочу я есть, пить хочу.

— Ах ты, господи, — и она, бросая все, спешит на кухню. Я встаю со стула, подхожу к раскрытому окну и с любопытством заглядываю вниз — высота притягивает и пугает. Я никак не могу понять, как получается, что люди, машины, лошади выходят такими маленькими, крошечными, вроде спичечного коробка, а я по-прежнему большой и высокий. Все двигается, бурлит, перемещается, словно кто-то водит их за собой — прямо как в кукольном театре!

— А вот и вода, — бабушка ласково смотрит на меня, вся светясь от радости, и я через силу пью.

— Пойду, баба Софа, опоздаю.

— Подожди, денег тебе дам.

Вот оно, счастье — заветная монетка в двадцать копеек. Поцеловав бабушку, я спускаюсь с пятого этажа по старой каменной лестнице и бегу, бегу по шумной улице, наскакивая в спешке на прохожих, бегу туда, где сейчас будут показывать мой любимый фильм, ура!

Бабушка Софья была необыкновенно доброй женщиной, хотя ее частенько подводила рассеянность. Казалось, она отдаст все, что ни попросишь, ей совершенно ничего не было жалко, и быт ее не отличался особой организованностью. Каждый раз, заходя в комнату бабушки, я заставал одну и ту же картину — вещи и одежда лежали на кровати, стульях, комоде, на столе возвышалась гора немытой посуды и посреди всего этого бегала, суетилась растрепанная хозяйка в халате на одну-две пуговицы. Завидев меня, она тут же переключала внимание — внуки у нее всегда на первом месте. У бабушки рано проявилась близорукость а, будучи на пенсии, она работала секретарем-машинисткой в Кировском нарсуде. Как-то в пятом классе я тайно отдал ей первые стихи, сгорая от нетерпения поскорее увидеть свои «шедевры» напечатанными. Получив через две недели желанные страницы, я забился в угол и разрыдался — такого количества ошибок не сделал бы и отъявленный двоечник.

Так безрезультатно завершился мой первый самиздатовский опыт.

Когда с годами вдобавок к слепоте прибавилась глухота, Софья Павловна была вынуждена оставить работу. Теперь она приходила к нам почти каждый день, часам к двенадцати (за два часа до ухода мамы на стадион «Труд»), выносила мусорное ведро и в задумчивости садилась на диван — тихая, застенчивая, болезненно-худая, как высохший осенний листок. Я расспрашивал ее о прошлом, она отмахивалась от моих вопросов и только когда под праздник мы с Володей брали гитару, оживлялась и просила спеть «Землянку». Стихи Суркова, еще не положенные на музыку, ходили из окопа в окоп, переписывались по множеству раз от руки, и именно они были вложены майором Овчинниковым в последнее прощальное письмо с фронта, навсегда оставшееся в памяти жены.

Бабушка Софья слушала очень внимательно. Восторженно

замирала, вскидывала седую голову и наклоняла ее к певцу, чтобы яснее расслышать слова, которые, впрочем, знала наизусть. И на ее слепнущие, белесые глаза понемногу накатывала одна слеза за другой.

Бабушка Оля — вторая по отцу — была строгой, работящей и набожной женщиной. Она жила возле реки, в дощатом бараке у Случевского парка. Два раза в год (на Пасху и Рождество) мы ходили к ней всей семьей в гости. Крохотный стол в небольшой комнатушке был весь уставлен снедью — тут и пироги с рыбой (кости из которой никогда не вынимались), с луком и яйцом, с творогом, всевозможные салаты, винегреты и неизменный — домашнего приготовления — праздничный кулич. У печки стояло ведро с колодезной водой, которую мы все любили пить, опуская в воду старинный деревянный ковш.

Трапеза разделялась на две части — сначала кормили детей, а затем садились за стол взрослые. Однажды, задержавшись, я оказался за одним столом с взрослыми и мне предложили выпить, налили полную рюмку вина — кагора. Недолго думая, я схватил рюмку и машинально, одним глотком выпил ее, так что сидевшая рядом мама не успела помешать. Все засмеялись, а баба Оля серьезно заметила:

— Смотри, Леня пьет, совсем как твой отец.

Я смутился и выбежал на улицу.

Мне было трудно с бабой Олей — я уважал ее и немного побаивался. Взгляд ее цепких и ласковых глаз смотрел испытующе, и это пугало меня, заставляло быть настороже. С годами наши отношения потеплели и мы сблизились — баба Оля подолгу и обстоятельно рассказывала о себе, о прожитой жизни. Я слушал ее рассказ, и мне не верилось, что эта сухонькая, сгорбленная, с трудом передвигавшаяся старая женщина могла переломить судьбу и, бежав в Уфу из Елабуги в 1919 году от местных властей, самостоятельно устроить свою жизнь. В двадцать восемь лет вышла замуж и родила четырех детей, последнего — когда ей было уже тридцать пять. Через пять лет мужа не стало, грянули голод, разруха, война, а на руках малолетние дети, один из которых инвалид, ставший впоследствии художником, — мой отец Леонид Янович Круль.

В середине семидесятых, когда Ольга Кузьминична перестала выходить на улицу и по этой причине уже не могла посещать баню (в бараке, разумеется, не было горячей воды), я по заданию отца брал легковое такси и привозил бабушку к нам. В большой просторной ванной комнате ее заботливо мыла моя мама. Потом баба Оля пила чай, отдыхала и к условленному часу, извещая о своем прибытии гудком, снова подъезжало такси.

Как-то в один из таких приездов я обмолвился, что у меня есть пластинки с записями церковной музыки в исполнении знаменитой капеллы под управлением Юрлова. Баба Оля, заинтересовавшись, захотела послушать. Я включил проигрыватель и вышел, оставив ее одну. Спустя некоторое время, опасаясь, как бы чего не случилось (в комнате было слишком уж тихо) я осторожно открыл дверь и остановился, пораженный увиденным — над проигрывателем, склонив к нему маленькую седую головку, сидела, совершенно не двигаясь, баба Оля, а по комнате разлетались светлые звуки возвышенного песнопения. Это был двадцать четвертый концерт Бортнянского.

— Третий раз слушаю — замечательно поют, — со слезами прошептала старушка.

Не умея управляться с проигрывателем, она догадалась переставлять головку звукоснимателя на начало и, чтобы меня не беспокоить, слушала заново.

Двадцать лет, пока носили ноги, баба Оля пела в хоре Сергиевского собора. Особенное место в ее комнате занимал старый, послевоенного образца, радиоприемник, по которому она всегда слушала Ватикан. Незадолго до смерти бабушка подарила мне нательный крестик своего мужа, поляка Яна Романовича Круля, и Евангелие.

Две жизни, два характера, две несхожих и вместе с тем близких по перенесенным испытаниям судьбы — мои незасыхающие корни. Когда мы с братом приходим к маме, гостим на последнем ее пристанище в Затоне, то обязательно навещаем бабушек, оставляя на полузаросших могилах знаки внимания и нежности.